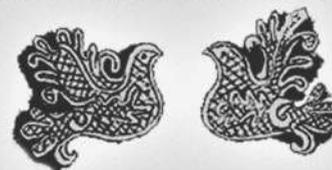


**Татьяна
ГРИБАНОВА**

г. Орел



НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ

Помню, когда не стало бабушки, а тому уже несколько десятков лет, отец, принимая наследство – вросшую вместе с завалинкой хату, кой-какой сараюшко да обнесённую ореховой частоколиной бакшу, отослал меня доглядеть «не завалялось ли чего дельного» в заполонённом вышедшим из годности посудом да всяческими хархарам чулане. Расстаться бережливой старушке со всем этим хламом рука не налегала, – авось когда-нито сгодится! – и потому за долгую жизнь скопила она много, по-отцову мнению, «всякого-разного-вовсе никчёмного».

День под завязку ухлопала я на разборку бабулиных завалов. Засушенные «кухвайки», изрядно побитые «шашалом» белокрайки, и валенки, ношенные-переносные, когда-то форсовитые «плюшки», распалив на задворках костровище, хоть и по сожалев о них, всё ж таки спалили. А неподдающийся ни времени, ни полымя хлам навалили поднебесной горой на телегу и, спровадив его в дальние овраги, прикопали.

Единственной ценностью во всём чулане оказался, на мой взгляд, с любовью завернутый в холщовую ветошку, запрятанный в фанерный посылочный ящик медный, почти вовсе и не потускневший,

уж чем его бабуля надоумилась смазать, сказать не решаюсь, на вид всё ещё «ходкий» самовар.

По какому такому ранжиру старушка занесла его в разряд «теперь никчёмных», до сих пор не соображу. Насколько помню из детства, она его несказанно любила и всячески лелеяла: и вишнёвыми веточками престарелого подкармливала, и всякий нужный раз бузиной до блеску натирала. Может, случилось это после того, как однажды, накануне Светлого Воскресенья, привезла я ей вместе с другими гостинцами и залиvistый, со свистком, к тому же нет сил какой красивущий – по чёрному полю алые рябиновые гроздья, – электрический чайник?

...Обнаружив отложенный в сторонку самовар, отец подивился: мол, зачем тебе такое старьё? Да из него, почитай, полвека чаю не пивали.

А бывало-то, особенно зимними вечерами, как сейчас вижу, усадит бабуля «внучатков» за стол, на самой середке столешни, ясное дело, – самовар. Сидим, чайком с донничком, с липой, мятой да мёдом балуемся, блины один за другим из высоченной, «что твоя Русалимская гора», стопки таскаем, и бабуля не стерпит, заведёт свою любимую:

*На Муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался со мной миленький
До будущей весны...*

Спустя много лет стала я понимать, почему именно эта печальная песня так трогала бабушкину душу. Дед мой, как и многие наши деревенские мужики, чтобы прокормить всё увеличивающуюся семью, уезжал на полтора-два года в далёкие края: то во Владивосток, то в Киев, а то аж на Балхашстрой. Вот и поселилась в бабулиной хате вместе с нею да шестёркой прижитых от деда ребятишек печаль-кручинушка. А когда, не прожив и 35 лет, он и вовсе сгиб в Казахстане на строительстве металлургического завода, черноризная тоска на веки вечные заполонила её сердце.

Ну, так я о бабулином самоваре. Не вступая в споры с отцом, а тем более в разъяснения, запеленала я дорогого найдёныша в ненадёванный бабушкин подшало, благо их, надаренных детьми и внуками, в старушкином сундуке – целая «огромная» стопка, увязала, значит, самовар в узелок, да и забрала к себе на жительство.

Прежде всего, как водится, с дороги искупала найдёныша. Уж и какими только никакими мылами, порошками и чем только не натирала, не полировала! И старания мои не оказались напрасными – спустя несколько часов, глядь, надраенный самовар-то мой разулыбался, медалями на щёчках своих расхвастался – так и посверкивает, так и подмигивает. Присмотрелась я к буквам, что слева от краника, понизу, выбиты. Оказывается, самовар-то мой – не хухры-мухры – предревний! Сработан аж в 1840 году в Костроме на фабрике Суматохина. Это ж подумать только: сколько ему годков оттикало! И, что самое удивительное, благодаря бабулиной заботе хоть сейчас на стол.

Если уж говорить по секрету, чай из него пить я остерегаюсь – всё ж таки самовару этому скоро два века стукнет! Вдруг где недоглядела, недотёрла, недочистила, а медь ведь имеет свойство окисляться.

Но дело найдёнышу моему всё равно сыскалось. И какое дело! Обнаружилось как-то, что он за свою долгую жизнь запомнил столько всякого-разного, случившегося при нём на крестьянском подворье. Но особенно любит он, хлебом не корми, старинные раздумчивые песни спевать. С тех пор, как прознала я у него такой талант, мне и музыки другой стало вовсе не надобно. Залью в самовар водички, подброшу в неё для духмяности сушёных вишнёвых веточек, подкину, куда на-

до, расперенных сосновых шишек, их у меня для таких особых случаев целый мешок из бора припасён, растоплю, значит, бабулин самовар. Сижу, из электрического чайника кипяточек подливаю, заваренными травками разбавляю. Чай попиваю да песни престарелого самовара слушаю. А уж он так-то выводит, так-то старается, подчас может и слезу из меня выжалобить:

На Муромской дорожке...

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

Цветущий яблоневый сад – бесспорно, одно из чудес природы. Он хорош в любое время года. Даже зимой, когда, казалось бы, и удивить-то нечем, сад умудряется порадовать пылливый глаз то стайкой красногрудых снегирей, то великолепной графикой оснеженных или заиндевелых ветвей на фоне ядрёного морозного солнца.

Я же люблю его вовсе не в ту, царственную, пору, когда под деревьями уже возвышаются вороха штрифелей, грушовок, анисовок, антоновок и ещё бог весть каких спелых, духовитых плодов, а с ветвей всё продолжают и продолжают тихо тукать оземь или, сорвавшись с самой макушки, биться в крошево и кормить своей сочной мякотью несчётные полчища ос. Нет, вся моя любовь отдана саду поры цветения, саду, от красоты которого замирает душа, саду, в котором даже вздохнуть опасаясь, потому как от малейшего дуновения, от любого движения в этом бело-розовом облаке начинают происходить какие-то свои, не подвластные человеческому пониманию процессы, и ты боишься испортить это дивное диво, созданное Творцом на радость людям в самом лучшем расположении духа.

И даже в эти восхитительные дни у сада есть особый, самый чудный час. Ни в какое другое время цветущий яблоневый сад не бывает так красив.

Это случается ранним-ранним утром, в тот момент, когда солнце, словно зацепившийся за краснотал воздушный шарик, только-только начинает высвобождаться из цепких кустов Ярочкиной лощины.

Наш сад, – может, это мне лишь кажется? – ещё изначально, лет сорок пять назад, был задуман так, чтобы, спустившись с крыльца, ты мог погрузиться в него настолько, что ощутил бы себя его частичкой, слился, растворился бы в природе, стал с ней единым целым.

И вот раннее майское утро. Время движется к пролетью. День обещает быть солнечным и звонким, как это обычно бывает на исходе весны. На заполонивших садовую луговину полураскрытых одуванчиках, на ещё молодой, нежной и не достигшей полного роста яблоневой листве возлежат перламутровые жемчужины росы.

Высвободившееся из лозняков солнышко перемахивает через лощину и брызжет, кропит своими лучами наш Мишечкин бугор. Прокравшийся было на ночь из бора поближе к человеческому жилью туман, как самый последний трусливый зайчишка, от дерева к дереву, от куста к кусту кидается наутёк! Да кубарем, да закрайками, да ручьями, болотцами! Нырь в боровые гущобины – и следа от него не видать. Пойдешь нарочно искать, разве что в какой-нибудь непролазной темени лапку или хвостик от него обнаружишь.

А в саду яблони не шелохнутся. Каждая веточка усеяна бутонами или уже раскрывшимися цветками. Тишь такая, что, кажется, отчётливо слышишь: словно кто-то невидимый отрывает лоскутки шёлка, то там, то тут пускаются в полёт белые, нежно-сиреневые, розовые, густо-малиновые яблоневые лепестки. И вдоль всего сада только в ими уловимых тончайших дуновениях утреннего ветерка кружатся, роятся то эфемерными мотыльками, то сказочными, неземными эльфами.

Пройдёт немного времени, и как только солнышко, пронырнув своими вездесущими язычками сквозь кроны, слизнёт с цветов и трав росу, в слышимый полёт лепестков вживится, вжужжится всё нарастающий гул изголодавшихся за зиму пчёл. Разве смогут они усидеть в своих колодинах, когда повсюду такой аромат и такая вкуснотища?!

Но пока, на восходе солнца, пчёлы досматривают свои медовые сны, а сад всё ещё зачарован тишиной. И в душе при виде его разливаются покой и отрада. И, словно яблоневый цвет, девственно-чистые и светлые зарождаются помыслы, и точно такое же настроение налаживается на весь предстоящий день.

Только бы не объявились внезапно морозы, не сгубили бы ненароком яблоневый цвет, а значит – и будущий урожай. Чтобы этого не случилось, лишь заходит, обычно ночами, разжигаем на поляне посередине сада костёр. Пригашая пламя сосновым лапником, окуриваем тёплым дымом, спасаем от заморозков свои цветущие яблони, их божественную красу.

НА ЗИМНЕГО НИКОЛУ

Вторая половина декабря на хуторе – самые беспросветные дни. Зимний Никола приходит как раз на эту пору. По пролетью-то Никола – звонкий, радостный. Так и надо думать! Чудотворец родился в кипенный цвет, в конце мая. Покинул же земную юдоль в декабре, по нашим меркам – в самую что ни на есть стынь. Как у нас говорят: «Господь не зря время выбирает».

Погоды к этому сроку стоят такие заунывные, хоть сам ложись да помирай – полдень на дворе, а вроде ещё и не рассветало. Промигнёт с полчаса, разжиревшая на кухонных облизочках кошечка Марфутка за-ради прогула в амбар за мышью не успеет дотелепать, – уж и вобратку мявчит. Ах ты, боже мой, темень непроглядная! Котейка заластится, оправдываясь: мол, поди, спроворься тут в эдакой стылой слепоте, и – шнырь себе на печку, под стёганую лоскутную одеялку, поближе к дышащему жаром козуху.

И всё же, если собраться с духом, чуток потерпеть, глядишь, сначала незаметно, крадучись, но с каждым новыми сутками прибавляя по граммилечке, свет всё шире примется раздвигать ненавистную темь, не на шутку взявную было в полон нашенскую округу от самого низовья Кромы до суглобистых старогнездиловских пригорков, от Савина лога до охрипшего, ознобно завывающего своими поднебесными деревьями Волчьего леска.

Испокон веку хуторское житьё считалось, да оно и верно, затворничьим. Мне же эта глушь как раз на руку: разве что почтальонша заглянет, и та – в редкую стёжку. В доме пахнет уютно, сидишь себе в горнице за заваленным книгами и бумагами столом, и если не отвлекаться, махнуть рукой на жасмины, поминутно царапающиеся в оконное стекло, то лучшего места для работы и не пожелаешь.

И благодаришь за то, что есть такое у меня местечко, Всевышнего и просишь у него «не о чудесах и не о миражах», а чтобы позволил на всю мощь использовать силу каждого дня. Чтобы обострилась наблюдательность и проявилась находчивость, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Так хочется научиться правильно, не разбрасываясь, распорядиться временем своей жизни, обрести тонкое чутьё, чтобы отличать необходимое, важное от второстепенного.

Оглянуться не успеешь, уклюнувшись в свои строчки, а уж и осливовились сумерки. Раздвинув

тюли, продышишь на промёрзшем стёклышке глазок, но, всматривайся, не всматривайся в законную синь, едва-едва разглядишь присыпанную золой стёжку, притулившиеся в дюжине шагов от ворот притрухнутые сеном сани, у дальнего амбара «размытую» надвигающимся вечером уже изрядно подъеденную копёшку гречишной соломы.

Поведёшь глазами по избе, и они, усталые от дневной работы, сами по себе с благодарностью за дарованную поддержку устремятся на божницу, где в тесном ряду в уже потускневших окладах ещё с бабушкиных времён прижились по сторонам от Спаса и Всемиловитая, и Анна Кашинская, и Пантелеймон-целитель, и, – конечно, – куда нам без него-то? – Никола Угодник.

Потом, укутавшись потеплее во всё ещё хранящую аромат «Красной Москвы» «сбитую» от многолетней носки мамину пуховую шаль, распахнёшь певучие двери, шагнёшь в простылые, дышащие пуками полыни и мяты сенцы, спустишься, ступая теплущими валенками по хрустким крылечным порожкам, в каляную декабрьскую тишь...

Пройдёшь сквозь таинственно дышащий сад, захрумкаешь едва приметной стёжкой по скатывающейся в низину улочке в белесом свете откуда ни возьмишь объявившегося месяца. Хотя удивляться ему, ни с того ни с сего засветившемуся, не стоит: чего не может статься на Николу Чудотворца?

Вот и подтверждение этому: вроде ещё не отпускает, ещё погружена в начатую пару дней назад повесть, ещё прокручиваются, примеряются на героев их монологи; ещё с ними, а порой и с самой с собой, подлаживаясь под главную задумку, веду, то горячась, то в сердцах комкая, бесчисленные разговоры, но в то же время зоркой душой, чутким слухом, всем своим существом, обонянием-осязанием впитываю этот затерянный меж орловских лугов, взгорьев и перелесков декабрьский вечер.

Может, пока не придаю этому значения, но всё, что сейчас рядом, чуть поодаль или где-то там, в скрывшейся дали, потом непременно проявится. Через месяц, через год, а может, через десятилетие, но обязательно всплывёт в каком-нибудь рассказе, эссе или хотя бы миниатюре. Эти продуваемые сикось-накось, вдоль и поперёк заметеленные снегами поля, этот выскальзывающий за деревню, укатанный санями до блеска начищенной стали просёлок, эта обнесённая высоченными будыльями борщевика околица, эти реденькие, вскрапывающие то там то сям сквозь колючие воздушные огоньки.

Спустившись в низину, прохожу вдоль широкой сельской улицы. Но и на ней, полузаброшенной, – дом за домом заколочены, – окошки теплятся: друг

от друга едва видать. Лишь иногда взгамкнет психа, ещё реже всхлипнут скрипучие запоздалые полозья и – снова немота.

И вдруг среди этой первозданности, словно диво дивное, чётко-чётко слышится: над освящённой Поповкой нежно всплеснулся и поплыл, потёк, разливаясь и накрывая всю округу, сначала дробный, а потом всё шире, всё необъятнее и величественнее благовестный перезвон. Это колокольня Сергиевской церкви в праздник Святителя Николая Чудотворца наперекор многоверстовой глуши и немоте собирает на службу оставшиеся живые души со всех окрестных деревушек.

Ноги сами по себе сворачивают влево, на дорогу, уводящую на изволок. Там, на самой его вершине, как последняя сокровенная надежда, на фундаменте древнего храма несколько лет назад с Божьей милостью миром поднялась наша Сергиевская церковь.

Ни изгороди вокруг неё, ни ворот пока не успели обустроить, а потому ещё издали различаю в ореоле крылечных фонарей несколько саней, пристроенных к коновязи лошадок. Дождаясь конца службы, они кунаются в подкинутые рачительными хозяевами охапки сена, жуют, прядая ушами, прислушиваются к затихающему перезвону колоколов.

Чуть поодаль, в рядок с ними арендаторский «Беларусь» – так себе тракторишко; справа от него, задком к присевшей под снеговыми шапками ели – такой же, повидавший виды ЗИЛок Семёна Петровича; и совсем уже с краешку, ближе к взметнувшему в поднебесную четырёхметровому дубовому кресту – незнамо какими козьими тропами пробившаяся из дальней деревеньки «девятка» тамошнего главы поселкового совета Федюшина.

Отвернёшь взгляд от церковного пяточка – черным-черно до жути. И, по всей вероятности, на этот раз прогноз не обманул: словно исподтишка, из-за домов, сараюшек на дороге, перебивая и путая путь, начинает выскакивать хлёсткая замья – предвестница обещанной непогоды. И на деревенском погосте, что приютился слева, в широченном, укрытом склизким переблёскивающим настом поле, то словно в предчувствии чего-то неизбежного, навзрыд голосят, то вдруг разом покорно смолкают голые берёзы.

Правда, когда выбираюсь на освещённое церковью пространство, на душе теплеет, даже перестаю замечать и усилившиеся порывы ветра, и пригоршни колючей сечки, которыми они неистово швыряют во всё движимое и недвижимое, пытаясь взгородить заслон от земли до самых поднебесных небес.

Время от времени двери храма открываются, и уже с паперти, сквозь распахнутый внутренний притвор улавливается густой и одновременно освежающий запах благовоний, которым отличаются в особо почитаемые праздники наши церкви; слышится песнопение, просматриваются оплывающие огоньки реденьких свечей. Стараясь не упустить ни одного слова из кондака, прохожу поближе к средокрестию, к стоящим полукругом перед отцом Александром прихожанам.

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источай многоценное милости миро, и неисчерпаемое чудес море, мисваляю тя любовью, Святителю Николае: ты же яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Справа от меня, зажав в левой руке кроличью шапку, стоит погружённый в себя арендатор Михеич. Дела его в этом году, прямо сказать, никаковские: засушливое лето не принесло ожидаемого урожая, кредиты, будь они неладны, сдавили горло: чтобы вконец не разориться, пришлось мужику распродать прикупленную было технику. А как без неё хлеборобу? На оставшемся трухлявом «Беларусе» ни вспахать, ни засеять. Остаётся Михеичу надеяться разве что на чудо.

Впереди него – соседка моя Матвеевна. Уже с неделю ходит вдоль хутора как неприкаянная, с лица спала. Так и врагу не пожелать её переживаний. Вот ведь говорила она Лидии, дочке своей средней: мол, «пошто тебе при нашей жизни третьего-то? Не послужала мамку, теперь расхлёбывает: мало того, что из райбольнички с двойней возвратилась, так сначала прошли по деревне слухи, а потом уж и доточно стало известно, что Стёпка её, паразит шалопутнай, в Москве на заработках бабой обзавёлся. Третий месяц ни к Лидке, ни к детям глаз не кажет». Притопала Матвеевна, несмотря на свои радикулиты, к Николе Мирликийскому, бьёт неистово в мольбах ему поклоны, «может, всё ж таки сжалится Чудотворец, уразумит гулёну, вернёт потерявшей от горя рассудок дочери мужа, а ребятишкам их непугёвого батяньку?».

А на лавочке поселковый глава Федюшин пристроился. Тоже к Угоднику припожаловал. Мочи нет службу выстоять. Авось Чудотворец не оставит его молитвы без внимания? Ведь всю как есть осень по больницам да по больницам, даже к бабке в Алёниху за водой нашёптанной да за травами ездил. Ничего не помогает. Ну, так кто ж не знает:

должность у него и впрямь собачья. День-деньской идёт к нему люд и идёт. То мост паводком снесло – вынь и положь новый, то хлебовозка неделю как не объявляется, то мотор на водокачке окончательно накрылся. «При таковской круговерти какое ж сердце сдюжит, разве что стальное?» – вздыхает Федюшин, жалуясь на заботы Святителю. А кому ж ещё-то?..

Вошла припозднившаяся учительница Светлана Григорьевна. Поставила перед образом Никола Угодника свечку и замерла, беседуя сердцем со Святителем. Раньше-то она, говорят, в городе в большой школе работала. Но что-то там у неё с женихом не заладилось. Вот уже годков семь как втолковывает она нашенской детворе, чем синус от косинуса отличается, а по-прежнему одна-одинёшенька. Да за кого в глуши нашей пойдёшь, разве что за деда Пуцая? Хотя... Может, и договорится Светлана Григорьевна с Чудотворцем. Прошёл слух: участковый у нас объявился. Прехорошеньки-ий! И самое главное – холостой!

Не упускаю возможность и я пооткровенничать в этот волшебный вечер с Николаем Чудотворцем. О чём? Да хотя бы о моей заветной мечте, чтобы долгие-долгие годы ещё не покидала меня радость вымыслов.

Уж и село прошла до последнего домочка, уж и вдоль хутора к усадьбе своей поднялась, а в сердце всё звучит, не смолкает:

Радуйся, яко тобою отгонится рыдание.

Радуйся, яко тобою приносится радование.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

РАЙСКАЯ ПТИЦА

Как только мало-мальски пообсохла после вешнего половодья земля, давняя знакомая принялась манить меня к себе на дачу. И когда все придумки для отговорки у меня истошились и дальнейшее сопротивление грозило смертной обидой, отодвинув на денёк нескончаемые дела, я, прокоротавшая безвылазно за рабочим столом зиму, наконец-таки выбралась из своей «берлоги» передохнуть.

Дело было на исходе пролететь, в позднюю Пятидесятницу. Не напрасно звала меня к себе подруга. Знала, что, ступив в безупречную ухоженность её усадьбы, невозможно не захлебнуться от восторга. Дача, утопавшая в эти золотые дни в последнем буйстве первоцветов: разнопёстрых тюльпанов и нарциссов, обворожительно душистых гиацинтов и всяческих вошедших в свою самую царственную

пору рябчиков, не могла оставить равнодушной даже такую привередину в цветочных делах, как я.

Но спустя несколько часов, то ли пресытившись холёным очарованием пионовых и ирисовых клумб, то ли устав от безделья, душа моя запросилась на простор, в окружавшие дачу приречные луговины.

Весна в том году объявилась совершенно неожиданно, и, смешав цветение черёмухи с сиреневым полымем, к Троице погоды уже стояли на удивление жаркие. Воды Орлика, проглядывавшего сквозь кружево высоченных осокорей, верстах в двух от усадьбы, наверняка были ласковые, потому как уже часов с десяти утра с берегов его доносились визг и хохот чебурахавшейся ребятни.

Перед закатом, когда поотпустил полуденный зной, наконец вышли за калитку. Решили прогуляться по окрестностям, а заодно добрести до дальней речной излучины, где, по словам подруги, можно было без ребячьего гама, в полнейшей тиши искупаться в кристальной протоке.

До Орлика – рукой подать. Чего ж дожидаться? Стёжка змеилась заливными лугами, уже всю поросшими нашим среднерусским разнотравьем. Где-то, в непостижимой человеческому глазу выси, заюливал жаворонок, на душе было легко и даже почти спокойно: день – лучше не придумать, и к тому же дома дожидалась вполне законченная повесть.

Воздуху распирало от запаха зацветающей полыни. Уже то там, то тут пролилось ромашковое молоко, разбрызгалась колокольчиковая синь. Вымахавшие в свои полроста татарницы скороспело выбросили зелёные шишки. На самых первых, самых крупных из них проклюнулись малиново-перистые гребешки. Меж маков-самосеек покачивали на едва уловимом ветру своими дробными серёжками кукушкины слёзки; рыжеватыми крупчатыми метёлками красовался вошедший в пору цветения ранний щавель; обочину обрамляли кремовые султанчики подорожников, и до самой излучины сплошной дробной сусалью меж трав и былинки просыпались ослепительные солнечные курослепицы.

Некоторое время тропинка ещё продолжала поднимать нас по крутому песчаному берегу вверх по склону, но наконец, уткнувшись в речку, оборвалась в зарослях иван-чая у неохватной ветлы. Под обрывистым откосом едва слышимо протекал Ор-

лик, смиренно неся свои воды мимо дачных домиков, потом пригородом, пригородом, чтобы дальше, в старых кварталах Орла, подпитать своими невеликими водами уже набравшую мощь Оку.

Престарелая ветла, уцепившись за берег всеми своими немощными силами, полоскала в реке длинющие седые космы. Через небольшое русло перекинулся недавно справленный, наверно после половодья, лёгонький тесовый мосток, ещё пахнувший свежей сосной. Взглянула с него вниз и диву далась: а и правда! Настолько прозрачна и чиста в этой удалённой от людского глаза протоке водица, что можно разглядеть, словно на ладони, каждую песчинку, каждый камушек.

На мелководье предзакатные солнечные лучи, пронзив тончайшую плёнку воды, поджигали пески, и они, словно золотые россыпи, невероятно искрились. Разноцветная галька же благодаря этим волшебным лучам становилась, по меньшей мере, полудрагоценной. Стайки каких-то неведомых рыбёшек, переблёскивая серебром чешуи, то выпрыгивая в азартной радости на поверхность, то в диком восторге проносясь у самого дна, играли в догонялки. Едва колышущиеся длинющие водоросли, цепляясь бородами за камни, казалось, ещё мгновение – и уплывут вдоль по течению.

Мы замерли, боясь нарушить устоявшийся лад этого укромного уголка. Потом, правда, не удержавшись, подруга, заядлая купальщица, спустилась ниже по протоке, и я с мостков могла видеть замелькавшую на поверхности омутка её оранжевую шапочку. Мне же купаться совершенно расхотелось. Казалось, не только сердце, даже кожа моя впитывала покой и наслаждалась красотой этого, только что открытого мной мира.

Вдруг, поначалу я и сообразить не успела, откуда, из какого места, с высоты песчаного обрыва стремительно и отчаянно, прямо с лёту, в прозрачность вод кинулась и тут же исчезла в глубине небольшая, но неописуемо красивая птичка. С голубовато-зелёным, рыжеватым с подбрюшьем опереньем, с полоской через глаз к затылку и длинным, совершенно не подходящим к её маленькому размеру, клювом. Никогда раньше не приходилось мне встречать такую редкостную в наших краях птицу.

Спустя секунды невеличка, чуть больше скворца, выскочила из воды: в клюве трепыхалась размером с неё саму серебристая рыбёшка, и так же стремительно, как недавно объявилась, пичужка исчезла где-то под травяным козырьком песчаного обрыва.

Напрасно подавала мне знаки подруга: мол, водица – парное молоко, не медли, вечер надвигается. Я, словно замороженная, не могла оторваться от откоса, от того места, куда, по моим предположениям, юркнула птица.

И моё упрямство вознаградилось: спустя пару минут – «тиип-тиип-тиип» – перламутровая птица вновь стремительно объявилась над протокой. Мгновенный нырок – и снова в клюве крохотная серебристая рыбица.

Но что самое удивительное, когда я переместила свой взгляд вдоль крутого обрыва и пошарила глазами по его неприступным песчаным откосам, увидела уже не одну, точно сосчитать было невозможно, но с уверенностью можно сказать: этих диковинных птиц было не меньше пяти.

– А-а! Зимородков высмотрела! – подошла, закутавшись в полотенце, подруга. – Я сначала тоже не то что купаться, вообще с ними расстаться не могла. Приду на этот мосток, час стою, два стою, будто в раю: тишь необычайная, душистый запах валерьянников и таволг и эти дивные божьи птицы...

До самого заката пролюбовались мы зимородками, до той поры, покуда не спровадились они на ночлег.

Это был один-единственный раз, когда я вживую смогла увидеть этих загадочных райских птиц. В середине лета, по чьему уж там указу, я и не знаю, задумали расширить и почистить русло Орлика. Особого толку из той задумки не получилось. Против природы, как говорится, не попрёшь. Орлик хоть река и смиренная, но норов какой-никакой и у неё имеется. Зафордыбачилась река, как шла своим путём, так себе поныне и идёт, только вот берега и приречную зелень в дачном районе исковеркали, затоптали машинами заповедный уголок.

Нет теперь песчаного обрыва, порушены гнёзда зимородков. Исчезли они с берега Орлика и навряд ли когда-нибудь сюда вернуться. Птица эта, как, впрочем, и многие другие, любит уединение и весьма придирчива к выбору места поселения. Только в тихих уголках, к примеру, по берегам укромных речушек с кристально чистыми водами, обустраивает зимородок своё жилище. Гнёзда делает в глубоких норах, вырытых на крутых песчаных обрывах.

Исчез песчаный откос, разлетелись зимородки в поисках новой земли, людьми не обетованной. Только сухие рыбки косточки да чешуя повсюду валялись на песке. Когда-то служили они подстилкой в норах, а рыбёшка, от которой они оста-

лись, – кормом птенцам голубого зимородка. При всей своей красоте, в отличие от иных крылатых собратьев, гнездящихся в береговых норках, таких, к примеру, как ласточки или стрижи, зимородок не шибко аккуратен и жутко зловонен – где ест, там и отходы от всяких-разных уклеечек, лягушат и стрекоз бросает.

Кстати, коротенький хвостик, оказывается, у зимородков самый что ни на есть бульдозер. Именно он-то и помогает этой маленькой птице прорывать длиннющие, – это надо подумать! – до полутора метров ходы-норы, вычищает песок и землю наружу.

Обычно птица эта суровых зим не переносит, с приходом холодов отбывает в тёплые края. Но в последние годы зимы на Орловщине подобрели, и, по рассказам моей подруги, часто гулявшей и катавшейся вдоль Орлика на лыжах, с приходом осени зимородки перестали было покидать своё обжитое местечко. Так и продолжали в зимние месяцы, словно какие оляпки, ежедневно нырять, плавать и ловить до дюжины мелких рыбёшек в прозрачной, переставшей покрываться льдом протоке реки.

Вспомню об этой дивной птице, глаза закрою, и представится чудо-чудное: ласковый, чуть движимый Орлик, и над протокой – в солнечном блеске лазоревые райские птицы. «Тиип-тиип-тиип!»

ЖИТИЕ НАШЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ

Имя этого городишки, хотя... я нарочно не стану называть его: он легко узнаваем; но вместе с тем этот захолустный, прилепившийся на крутом берегу Оки городок ничем особенным не отличается от сотни таких же глухих, провинциальных, которым потерян счёт на громадных просторах России.

Правда, ни в каком ином месте такого не видывала: по ночам, особенно в августе, с уютного, но бескрайне раскидистого неба серебряными штрифелинами срываются крупнющие звёзды и вдоль стёжек, протоптанных в зарослях аниса и сныти, скатываются прямо в реку, чтобы на ранней заре местные рыбаки вылавливали их блескучей плотицей на самую что ни на есть простецкую мормышку.

Вообще-то, утро здесь начинается глубокой ночью, когда чуть позже четырёх в пекарне старого монастыря – насельников-то его ещё в двадцать седьмом спровадили кого на Соловки, кого тут же,

у стены, к Господу – затеплится, значит, в этом Божьем месте ещё затемно свет; глядишь, через часок-другой потянет за поросшие ивняком и берёзой почти сровнявшиеся с землёй монастырские стены духом свежего хлеба. И поплывёт он вдоль улиц городишки, проберётся во дворы: там уж, ещё до солнца, зашевелиятся хозяйки, закрутятся колодезные ворота, замымыкают, закудахчут на дальних заулках сараюшки. А когда уже заперезвонит кузня, завизжит пилорама, затарахтит маслобойня – тут, считай, утро и вовсе вступило в свои права – только успевай поворачиваться.

К этой поре в одном предревнем, ещё домонгольской красы, белом-пребелом, словно лебедь, храме и двух других, более поздней постройки, XVIII-XIX веков, закончатся заутрени. Отблаговестят и в новом, возведённом на самом верхотурье Архангельской горы, поставленном на месте зеленошелой колоколенки с осыпавшимися шатрами. Хоть и не удалены от стен этой церкви ещё леса, хоть и не завершено внутреннее убранство, – алтарь взялись резать свои мастера-краснодеревщики, а дело это требует и времени, и молитвенного раздумья, – но и в ней, незавершённой, служба идёт уже с самого Покрова, и маковка, лишь выглянет солнышко, ещё не тронутый временем сусалью отразится в неспешных водах Оки.

Это не гоголевский Миргород, нет: лужи со свиньями давно с центральной улицы переместились на окраины и давно здесь не играют на выжженной с берестяным раструбом дудочке, но дикие мальвы, а по большей части лопухи и татарницы за моё почтение ещё буйствуют повсюду, и нет им окорота ни в разбитом лет пять назад парке Победы, ни даже на главной площади городишки. Кажется, исчезли они, вездесущие, и городок сам себя не узнает, в диковинку ему станут гладко выбритые газоны; трава здесь живёт себе, поживает своей травяной жизнью, какую ей Бог положил.

Переведись этот самый лопушняк, где ж мужикам будет, к примеру, «свойскую» распить? А то в тенёчке да хоть под той же монастырской стеной залягут в траву – и ищи их бабы, свищи. Правда, последнее время повадился на обед мимо стены ходить городской голова: врачи, мол, твердят в один голос: движение – это жизнь, советуют своим ходом передвигаться; а ведь и верно, что ни год – костюм приходится на размер больше покупать, так и денег не напасёшься.

Из-за этого самого головы, Петра Степаныча, пришлось гулеванам перебазироваться в бурьяны, что подпирают тыльную сторону городской бани. Хоть мужик-то он, Пётр Степаныч, в доску

свой – идёт, со всеми здоровкается, о том о сём расспрашивает, сам ежели только по праздникам, а это не в счёт, в буден день – ни-ни, в рот не берёт, но коли заметит кого среди рабочего дня не при деле, а тем более нетверёзым – пиши пропало – спуску точно не даст. Тогда уж наверняка – отправляйся за литовкой да выкашивай своё потаённое пристанище.

А так, вообще-то, Пётр Степаныч хоть и с важным лицом, но ничего, душевный, можно сказать, даже мировой мужик! Ничем особо от обычных жителей городка не отличается. Может, в других каких местах это тоже в диковинку, а только местных голова обожает свою «девятку», о каком-нибудь «мерсе» или джипе и мыслить не мыслит. «А на кой он мне, этот «мерс»? Моя ласточка ему ещё и фору даст», – ничуть не смущаясь, обронит, бывало, голова, заметив удивление приезжего губернского начальства.

Хоть и протянули газовые ветки вдоль трёх основных улочек, голова, как и большинство жителей городишки, осмотрительно печку свою уберёт. «Оно, конечно, прогресс – дело важное, – подумалось тогда Степанычу, – а только какой я русский без печки?.. А штец, а холодчику в чугуночке притомить? С плитки-то, из кастрюли и дух не тот, и вкус столовский!»

Вообще-то, перемены здесь случаются, но, по правде сказать, проходят с великим скрипом. Русский мужик ведь и испоконь к ним подходил с оглядкой. И в этом городишке за века – а края эти, если вспомнить, знавали ещё набеги Дивлет Гирея – можно, конечно, подивиться, только ничего с той самой поры в укладе мужицком по большому счёту и не изменилось.

Нет, время, конечно, движется вперёд, что и говорить. Но по заутрене, как и двести, и триста, и пятьсот лет назад, на росных подворьях слышится цыркание о подойники парного. Покрикивает, подщёлкивает плёткой пастух, как когда-то его пращур, собирая от хозяек коров и уводя их до вечерней зари в припойменные, поросшие вкусной, истекающей сочной цветастостью, луговины.

И не сказать чтобы житие в этом крохотном городишке было словно у Господа за пазухой: человек, он ведь, известно, – везде человек, как со своим добром и любовью, так и со своими страстями; куда ему, грешному, от них-то?

Но как-то так уж повелось, видать, ещё от дедов попридержалось: ворота здесь по сю пору доверчиво запирают на палочку и собак спускают на ночь не для припуга, а разве что за-ради выгула. А кого остерегаться-то? Друг дружку с мальства знают в

184 *Татьяна Грибанова*

лицо и меж собой если не ближние родичи, то уж как пить дать – сватья-кумовья.

А потому и дела здесь большие вершатся миром: дом ли, амбар ли какой поставить пособить, да хоть бы по весне картошку посадить, а по осени выбрать. На том и стоит городишко. Не помогай сосед соседу, может, давно уже и сгиб городок навовсе.

А он, вишь ты! Сколь веков ему, хоть в столицы и не выбился, а хорохорится, не сдаётся. Было время, когда у местных купцов капиталу собралось довольно, чтобы проложить в городок «железку», мог он выйти и в ранг губернского города. Да только засупротивились отчего-то купчишки. Народец этот себе на уме. Покумекали, прикинули и решили: мол, а куда спешить? Им и так неплохо: мощна эвон как на доходах от их конопляных, мукомольных да кирпичных заводешек набивается. Видать, от них-то, глубокоумных, с их лёгкой руки и прижилась в городишке поговорка: курочка клюёт по зёрнышку, а какает кучечкой.

Не перестрашуйся тогда купцы, глядишь, набрал бы силу городок, расцвёл. Может, устоял бы и в наши, уже перестроечные годы, не сгибли бы когда-то приватизированные у тех самых купчишек заводики, не стояли бы сейчас заколоченными старые, с удивительной резьбы наличниками и крылечками дома, не врастали бы они, источенные жучками, в землю, не заполнялись бы подворья дурнопьяном.

Но, как бы там ни было, по пятницам и субботам, хоть уже намного реже, всё ещё сигналият, подъезжая к загсу, что вместился в одном из старых купеческих особняков вместе с Домом культуры и судом, разукрашенные лентами и цветами свадебные машины; ещё нет-нет да услышишь голос подгулявшего, раскрылетившегося на радостях папаши под окнами обколупленного ливня и снегами роддома: «Галинка! Гляди там у меня! Чтoб пренепременно мужик был!.. Шшшубу из шиншилей куплю! Пряма с Парижу!»

Здесь, богом не обижены, всё ещё квасят по первопутку, под Покрова хозяйки, сдабривая кто анисом, кто ягодкой-клюквой прищипленную первыми морозцами капусту. А перед Пасхой даже вдоль самого отдалённого, самого затрапезного урынка плывёт дух ванильных куличей, смешанный с запахом утомлённой луковой шелухи.

И не случалось ещё того, чтобы после Роштва, в самые окаянные морозы под Архангельской горой, сгуртовавшись и сменяя друг дружку, без особого галдежа мужики не вырубали бы чуть ли не во всю ширь Оки Крещенскую купель. И нет того, кто бы

даже клацая зубами, не захотел в ней смыть поднакопившиеся за Святки грехи.

Пройдись неспешно вдоль городка, бросься ласточкой с приокского обрыва, пролети над ним, приглядишь, прислушайся... В его деревьях так же, как в Муроме, Залеске, Болхове, Устюге, Мценске – да всех городишек и не перечить, – так же, как и в каждом из них, вешней порой здесь в кронах деревьев гортанно перекликаются, подновляя гнёзда, грачи и нет спасу от затопившего пути-дороги половодья.

А в летнюю пору, к исходу дня, когда уже в ложине за старым элеватором начинает воедино сплавляться небо и земля, но, словно рыба в садке, всё ещё трепыхается, никак не угмонится перестаревшее солнце, с какой-нибудь привычной лавочки до-олго, пока не «доклюют» скрученные на бакшах сковородки громадных подсолнухов, не могут разойтись, даже пересмаковав все последние новости, старухи.

Это городишко, в котором до сих пор, к примеру, в Светлую седмицу, за-ради гулянок, обустроившись на завалинках и завернув прокуренными пальцами покруче из свойского самосада «козы ножки», мужики любят поглазеть на петушиные бои.

А туда, ближе к майским, по-весенне обрадованной земле, опять же гурьбой, словно галки за плугом, выйдут они прибрать городской сад: смахнуть с кепки гипсового вождя галчиное гнездо, подновить бронзовой краской памятник землякам, павшим в Отечественную.

И так же дружно на Радоницу, собравшись на погосте, до которого рукой подать, иди хоть с какого конца городишки, спешат они расстелить скатёрку прямо на родных могилочках, выпить, как водится, по три стопочки на помин ушедших, покрошить под голбцами прибережённые с Пасхи крашенки и куличики. А потом навеселе разбрестись по домам, чтобы исполнять своё повседневное житие и чтобы, как подступит Троица, снова высыпать пёстрой стаей – аж в глазах зарябит – всем городишком, от мала до велика, на уже успевший пропылиться просёлок, ведущий к старому примонастырскому погосту, где у каждого за оградкой рядком покоится весь род.

Так уж спокон веков здесь водилось: где бы ни жил мужик из этого древнего городка, помирать возвращался к отчему порогу. Пусть пройдёт и тысяча лет, пусть осыплются с небосвода звёздные штрифелины, поседеют воды Оки, но это наверхняка останется неизменным.

В таких городишках знают тебя или не припомнят, чьего ты роду-племени, свой ты или чужой, всё

одно пренебреженно поклонятся при встрече, а вослед, и не сомневайся, пройди мимо любой прикорнувшей в теньке на лавочке старушки, посмотрит мать глазами отцветших незабудок, подымет троеперстно сухонькую руку и по стародавней русской привычке трижды перекрестит тебя вослед.

Вот такое оно, наше провинциальное житие.

В ОТЦОВСКОМ САДУ

Старый отцовский сад. Сирень в цвету. Вроде всё здесь по-прежнему. Ещё целы, даже изрядно вымахали и почти накрывают собой всю одуванчиковую луговину посаженные лет пятьдесят назад штрифели и пепины. На солнечных прогалах заматерели, необъятно раскустились кипенно-белые и нежнейше-розовые пионы. Правда, измельчали. Ближе к дому, в палисаде, разгулялись, заповнив малейший подступ к окошкам «самоуправные» мамины кусты кремовых роз и жасмина – махрового, с непоседливо снующими в нём от цветка к цветку блестяще-зелёными светлячками.

Но многое и изменилось в этом дорогом, знакомом мне с ползункового детства уголке. К примеру, помнится: в прошлом, при маме, сквозь сад, от антоновки, что накрывает его входную калитку, до самой дальней, смотрящей через игинское поле на Ярочкин лес грушенки, на высоте двух метров натягивалась бельевая верёвка. И не проходило дня, ни в жару, ни в стужу, чтобы не трепыхались на ней пёстрые постирушки. Когда же их, подсохших, снимали, можно было любоваться рассевшимися там и тут по всей длине верёвки серенькими ласточками-прищепками. С уходом мамы разлетелись эти птички неведомо куда, потом за ненадобностью пропала и сама «бельёвка».

Сократившись до отцовского треуха, со временем исчез и наш щедрый – чего только на нём не произрастало! – сотках о десяти огород. На сегодня грядка огурцов, десяток помидорин, да горстка зелени – вот и вся огородная забота моего старика. А бывало!.. С самой ранним-ранней поры, как только проклюнется по окрестным лощинам щавель, до самого Покрова, покуда не спровадят в погреб последние кадки с квашеной капустой и мочёной антоновкой, в кухне польхала печка – варилось, солилось, мариновалось – одним словом, хлопоталось о том, чтобы безбедно пережить голодную зимнюю пору. И, помнится, радением заботных отца и мамы это удавалось.

Перевелись, разлетелись по чужим псекам и наши пчёлы. Тулятся полуразваленные, изгнившие колодины к ореховому плетню, заросшему

сорным клёном да обнаглевшим без предела хмелем – больно глаза на них поднимать. Хоть и докучали, бывало, до слёз их обитатели – ни тебе в дневную пору яблочко сорвать, ни бельё пересохшее с верёвки сдёрнуть, – а всё одно жаль: «скотинка-то родная». Правда, коли прицепится, так прицепится, ни за какие коврижки не отбиться! Полчаса будет зундеть, а всё одно допнётся: в лоб ли, в щёку, а то аккурат меж глаз пренебреженно отметит. Теперь вот гуляй себе хоть у самых летков, никто не жукает.

Всё меньше стрекоз, бабочек и птиц... Разве по случайности великой завернёт какая. Хоть и дробная «насекомь», а и её не проведёшь – измельчали цветы и травы в умирающем саду. Нет в них былой радости, восхитительных живительных соков. Оттого и покинули его кормящиеся, бывало, здешними нектарами букашки.

Задичал и вишенник – дрозды и те носы от него воротят. Да и яблоки – не яблоки, так, мелюзга одна, прям-таки ранетки. А в пору моего детства вёдрами, а то и вовсе мешками тащили знакомые из нашего сада первосортный фрукт, ягоду; с огорода – овощ всяческую. И себе хватало, и людям оставалось. Бери – не жалко!

И гости в былые времена в нашем доме не переводились. И свои, деревенские сватья, кумовья – а как иначе-то по-соседски? – и по выходным, глядишь, из города нет-нет то тётка, мамина сестра с дочерью прикатит, то отцовы родичи-племянники сподобятся. Для долгих посиделок на большое семейство и сколотил тогда-то отец в сиренях длинный тесовый стол, а вокруг него – лавки: мол, на вольном духу и потолковать с роднёй о житье-бытье, а то и пропустить одну-другую «свойской» только в радость.

Сирени хоть и потеряли цвет, из «заводских» махровых обернулись дикушками, но всё ещё цепляются за жизнь, всё ещё не сдаются, хорохорятся. А бедки той, отцовской, кой-то год и в помине нет. Ни лавок, ни широченного хлебосольного стола... Да и, к слову сказать, гости дорогу сюда позабыли. Но сколько Престолов в этих сиренях отпраздновано, сколько песен спето, сколько «Барынь» да «Цыганочек» отплясано! Сколько, уж если до конца сказывать, сливовицы выпито, холодцу гусяного съедено – так и не припомнить!

Отец ведь по ту пору гармонь из рук не выпускал. Без неё, без ливенки его, какая ж гулянка? Рядом с сиренями и трава не росла. Не успевала. Выбивали её, дробя своими каблучками, игинские молодки так, что суглинок твёрже асфальта становился.

Помню, кинется, бывало, в круг Валентина Михайлова, да «с выходкой», как присолит частушкой свой пляс – хоть святых выноси. Но незлобливо, эдак, шутя, да с подковыркой.

Собирались люд поглазеть на пляски на Пасху, на Маслену, опять же на Троицу. Гулянья эти объединяли чуть ли не всю деревню, удержаться от них мог разве что хромой – какая уж тут трава на подворье? – только пыль столбом. А на другой день всем гуртом за работу – на сенокос, в поле.

Боже ты мой! Куда всё подевалось?! В какие колокола надо ударить, чтобы собрать всех по обычному, не экстраординарному поводу, к примеру, не на похороны? Старики спровадились на погост, молодёжь разбрелась во все концы российские – не собрать уже, не созвать никаким калачом заманным в деревню. Расселись по городским квартирам, по собственным клетушкам, соседа по лестничной площадке покажи – не узнают. С работы – домой, из дома – на работу. И не сказать, что бездельничают. Нет, работают. Всё зарабатывают, зарабатывают... Выражаясь нынешним модным словом, «крутятся».

БАБЬИ КАМНИ

В октябре просветы и радости так редки, что с нетерпением ждёшь не дождёшься Покрова – главного осеннего праздника.

По той поре у запасливого мужичка на дворе и кудахчет, и похрюкивает, и мычит, и ржёт. Амбары доверху набиты сеном, за огородом – не один стожок соломы, в закромах – мучица нового помола, в достатке и пшенички, и ячменя. Почему ж не попроязнить? Самое времечко.

Полевые работы с дождями схлынули, а по первопутку можно и сани опробовать, в гости к сватьям-кумовьям прокатиться. А коли те опередят, подсуеются, пораньше запрягут да нагрнут ни свет ни заря, так крепкого хозяина врасплох не застанут. Пока разгорячённых лошадок оботрут, к коновязи пристроят, овсеца зададут, пока мужички степенно перекурят, пока хозяин похвастается перед гостем племенным гусаком, а то и сторгуется тут же обменять, пока гость прикинет вес «заводской» крольчихи, подивится её крупному выводку, хозяйка, благо не надо наскоро рядиться (сами ж в гости собирались!), метнётся по хате и в считанные минуты накроет такой стол, что станет ясно: гости заживутся с неделю, не менее. А для кого же такие запасы заготовлены, как не для родных-близких?!

В чулане как раз сальцо морозцем прихватило, а в погребе такие разносолы, что зиму зимовать

– в ус не дуть. В закромах, на полках да прямо на земляном полу – кадки, кадушки, кадушечки, бочки, бочонки, бочоночки, вёдра и кастрюли, кубаны и банки. А в них! Капустка квашеная, огурчики-помидорчики солёные, антоновка мочёная, маслята-рыжики с вишнёвым и смородиновым листом, с укропчиком и хренком. Выбирай на любой вкус! Хоть каждый день праздники устраивай. Не соленья, а вкуснотища!

А чтобы сохранить всю эту замочку-засолку, у проворной хозяйки с лета на завалинке не один десяток валунков просушивается, своего часу дожидается. Ведь для сохранности урожая, чтобы соленья хрусткими да вкусными оставались до поздней весны, а то и до новины, в бочки-кадушки гнёт укладывают.

Ни одна бабонька деревенская не упустит удобный гладышек. Да чтоб потяжелее, повесомее. Да чтоб из песчаника или кремния. Ни в коем разе не известняк, поскольку он для кухарских дел не годится: рассол закисшей капусты или огурцов – и глазом моргнуть не успеешь! – разьест непригодный камушек, в прах рассыплет.

Величали этот «бриллиант», а он и впрямь в хозяйстве драгоценен, в разных местностях по-разному: и гладок, и гнеток, и увальень, и тяжёда, а то и просто – давок. Названия эти от работёнки его (такой простой, но такой необходимой на крестьянском подворье) – давить, придавливать, прижимать, утапывать, жать да теснить. Коли камушек ладный, так и огурчики в рассоле пребывают, не пустеют, не всплывают. И рыжики в самый аккурат, и капуста так под ним сомлела, что сок её и не сок вовсе, а какой-то божественный напиток: и бодрит, и силушки придаёт. А силы мужичку ой как надо за зиму поднакопить, к работам весенним полевым поднабраться.

Где бы мужичок такой камушек ни приметил: на берегу речушки ли, на лугу ли, в перелеске, валунок тот на телегу вскинет да жене в подарок и преподнесет. Хоть и зовутся увальни «бабьими камнями», но собирают их испокон веку только мужчины. То ли потому, что тяжеловаты, то ли оттого, что непростые они. С какого места подобрал, оттуда же и энергетика на свой двор принёс. А с этим не шути. Бабоньки побаиваются что ни попадя в дом нести, а потом ответ перед мужем держать. Пусть уж сам хозяин рискнёт. Камень через некоторое время, как пить дать, себя покажет. Потому исстари к выбору его народ подходит серьёзно.

Упаси Господи поднять гнеток у просёлка! Ещё запретнее собирать «бабьи камни» на росстанях,

где пересечённые дороги образуют крест. Знамо дело, самое колдовское место – росстани. Всякая уважающая себя ворожея шмыгает под ночным покровом на это злосчастное место. Сколько её змеиноного сглаза да шёпота легло на камушки, что к несчастью своему закатились на перекрёсток полевых дорог! Сколько бед и хвороб легло на их седы, порою даже замшелые, обветренные головышки! Приподарит непосвящённый в тайну «бабьего камня» жёнушке такой валунок, ан глядь – в подвале потоп. Обручи на кадушке от тяжести не ведомых ни хозяйке, ни её мужу впитанных в голышок чужих грехов лопнули, бока-днища рассыпались, рассол ушёл. Огурцы пустили такой дух – хоть вон беги. Капуста прогоркла. А грибы – плесень плесенью. Все труды хозяйские – поросят в кормушку, а то и вовсе в навоз.

Предусмотрительная бабонька, как подъедятся разносолы, кадушки – прямиком на реку. Промоет, утопит в омутке на всё лето. А валунки сполоснёт да отдохнуть пристроит. И камушки до поры засыпают. Вылежатся они к осени, дождями выполощутся, солнышком прожарятся. Принюхавшись: вольным духом пахнут да свежей проточной водицей. Ошпарит их хозяйка кипятком – разбудит. И хоть сразу в кадку.

Другое дело – увалень-находка. Хозяин несёт его, не давая в руки жене, в баню. Прокаливает, пропаривает, смывает всевозможные колдовские чары. А перед этим, не переступая порога, снаружи бани вычитывает над камнем:

«Снимаю с тебя, царь-камень-каменище, дремоту лесную, тяготу земную! Не режь ребром, служи добром! Станешь давить – не раздави, из рук скользнёшь – белых ног не трожь. А сунется ворище, не сдвинет каменище! Аминь».

После пропарки хозяйка поджидает остывший и обсохший камень с холстинкой. Входит в горницу, чтобы каменюгу «умаслить». Конопляным или подсолнечным маслом на него поливает, со всех сторон натирает. Ещё наши предки считали, что валунок может хранить память долгие годы (быть злопамятным или добропамятным) и потому, перед тем как доверить ему ответственную работу – хранение продуктов на зиму для всего семейства, – новый камень «умасливали», завоёвывали его расположение.

Коли приснится хозяйке, что она гнёт-валунок в кадушку укладывает, возрадуется сердешная (как душечка-то не ёкнет?): клад по весу с приснившийся камень в самом недалёком будущем сыщется.

Это теперь – банки-склянки, а раньше (веками!) соленья-квашенья хранились в бочонках да под гнетком. Камушек каждый раз подбирали на глазок. Вес его зависел и от величины кадки, и от того, какой продукт в неё укладывался.

К примеру, для огурчиков сойдёт средней тяжести грузец, а помидор – овощ нежный и обращения к себе такого же требует, потому и валунчик в помидорный бочонок отбирают самый наилегчайший. Грибы же да капуста – ребята простецкие, и камень аккурат по ним – поглубже да потяжелее приберегают.

Прежде чем гнёт уложить на дощатый дав-кружок, принято ошпаривать и камень, и круг крутым кипятком, споласкивать солёной водицей. Бабушка моя, дочка знаменитого на всю округу бондаря, суется по осени в погребце у наполов-кадушек, каждый раз пришёптывала известную любой деревенской бабе присказку: «Не сеяно, не молочено, в воду обмочено, камушком пригнетено, к зиме прибудено». Прохлопочет, бывало, она дотемна в подвале, «уберёт напольчики в зиму», перекрестит каждый не один раз, а как выберется на свет Божий, подопрёт дверь да напоследок и прочтёт: «Помидорчики-огурчики во соку, что красна девка на боку: лежат – не маются, спят – наслаждаются. Будет нечистому пусто, а нам зимой густо. Аминь».

И по сю пору известна хозяйкам эта нехитрая присказка. Выслушает её камушек-валунок, закряхтит, поднатужится – холода-то ещё только подкатывают, работы невпроворот! – и станет ладно справлять своё дело: следить, чтобы грибочки-яблочки из рассола не выскакивали, чтобы круги чин-чином поверх солений возлежали. Тогда и зиму перебедрать – что с горы камушек скатить.

ДАБА*

Произошло это несколько лет назад, но до мельчайших подробностей помнится по сю пору. Житейские катаклизмы выбили меня тогда из равновесия, и я, как бывало в моей судьбе не раз, отправилась утешать свои печали на отчину.

Дело было после Покрова. В душе – ни приюта, ни покоя, а тут ещё расхлюпалась осень. На исходе октября спозаранку ветер полощет на всю ивановскую застиранные, замызганные дни. В беспросветной серости вечерние сумерки подползают так незаметно, что и оглянуться не успеваешь, как весь окружающий мир – и подворье со

* Даба – в переводе с монгольского перевал.

всеми клетушками-сараяшками, и порыжевший приречный дол с понакрытыми ветошью отавными стожками, и за Дабой расстёгнутые нараспашку леса – ухают в непроглядную ночь.

Ведь знаю с малых лет: в такую пору на версту от деревни не отходи, пережди в уюте осенний морок до первопутка. Заквашивай с брусникой капусту, замачивай со ржаной соломой антоновку. Да мало ли ещё какие дела сыщутся на крестьянском подворье поздней осенью?

Но вот понесло же меня за «крайними» опёнками! А всё дед Трофим со своими рассказями. Испытано сотню раз: ему набалобонить – что чихнуть. Но уж очень соблазнительно-вкусно, «остопарившись», рассказывал он вчера, когда приходил к отцу за прополисом «от ломоты?» для своей застудившейся на бахче Макаровны, прям-таки бился об заклад старый прохиндей: мол, хотите – верьте, хотите – с хлебом ешьте, а только «надысь, телепая на своей вовсе обезножившей Рохле от кума», догледел он, как из-за Дабы «пёрли какие-то нашенские бабы неподъёмные плетушки с грибами». Молол языком дед, молот, а сам нет-нет да прищуривал свои лукавые глазёнки на меня: знал, «ни в жисть» не сдержусь, проверю заповедные места.

Лучше б стерпела! Да и не стоило так далеко заходить за Дабу. Стемнело невероятно быстро, а я, продираясь на взгорье с подзавяз утопанной плетушкой, сошмыгнувшись с наторенных троп, уже напрямки, нахлобучив пониже отцовский кроличий треух, всё ещё торю наперекор усиливающемуся сиверке свой обратный путь.

Обычно в такую пору особенно явственно перемаргиваются огоньки деревушек, но нынче, как назло, сквозь густую октябрьскую кромешность, сквозь развесившиеся по деревьям, разлэгшиеся по буеракам берендеевыми космами туманы невозможно различить ни единого приветливо подмигивающего глазка. А моему напряжённому слуху, как нарочно, так жгуче хотелось расчуять, как где-то, пусть даже у чёрта на куличках, заревела в коровнике, вспомнив о чём-то своём, скотина, или прохлюпала к теплу по вязкой сметане просёлка запоздалая телега. Потонувшие в мореке нелюдские пожни и перелесицы замерли в предрешённости, в безнадежной неминуемости.

Ни души. И только тащится за мной в покровской стылости старая дворняга Нюха, то внезапно исчезая (слышу: шныряет где-то совсем рядом, мнёт валежины в густящих лохмах тумана), то так же неожиданно объявляясь.

Увязалась на свою кудлатую голову, и теперь,

промокшая до малой шерстинки, продрогшая до косточек, мудрая псина старается не подавать виду. А ведь знаю наверняка: валится со всех четырёх своих радикулитных лап.

При затынувшихся наших с Нюхой тяготах, при всей труднопролазности положения где-то на донышке подсознания не без гордости копошится мыслишка, не позволяет окончательно закиснуть: всё-таки впитанная с материнским молоком крестьянская сноровка даёт о себе знать. Не ведая, по каким ориентирам-вешкам, иду наверняка правильно – местность наострилась на подъём.

Вот и ладно, а то вначале-то было подумалось: заблукала, похотелось даже, как учила когда-то меня, маленькую, бабушка: коли почуешь в лесах чего не так, чтоб не насмеялся лешак, тотчас поменяй обутку, правый ходак – на левый, левый – на его место, глядишь, тотчас, как молынья, к людям и выберешься.

Понесло холодом. Как пить дать, к утру закрайки лужиц покроются тончайшим, едва приметным слюдяным ледком. Послышался ленивый говор реки, и мы, кое-как приладившись, по осклизлым камням перебрались на другой берег, от которого ещё издали тянуло терпким хвойным духом. Отсюда, по моему разумению, пойдут наши хutorские сосновые боры.

Умаяла-ась! Скинула под сосну плетушку, присела передохнуть. Вижу: псинка моя совсем никуда. Улеглась у ног, шлёпая губами, уложила осоловелую морду на лапы, в глаза с укоризной заглядывает.

– Куда ж ты меня, растакая, на ночь глядя завела? Я-то думала, в сельпо за жамками идёшь, а ты э-э-звон куда дёрнула, хоть бы намекнула, я бы лучше в Казюлихин курятник за подкладнем смоталась.

Даже от баранки – а ведь как обожает помусолить в своих истёршихся зубах! – напрочь отказалась. Видать, пора с нею разговоры разговаривать, а то и до конуры своей родной разнесчастная не доковыляет.

– Ничего, – говорю, – подружка моя сермяжная, держись! Нам бы только до Дабы доползти, а там – котушком под горочку. Пару вёрст, и – глядишь, спустимся в Гривастую лощину, в ней, окружённой старым сосняком, – как у Господа за пазухой, – тепло и уютно, скорёхонько на Кириухин взлобок подыдемся – с него уж и до хutora рукой подать. Не раскисай, держись, старушенция. Вот послушай-ка, хоть и замудрёнистая ты псина, каких отродясь на нашем хutore не водилось, а

только голову даю на отсечение: даже ты того не ведаешь, о чём я тебе по большому секрету расскажу. Только ты уж меня за это потом уважь, не подведи, не бросай здесь одну.

Так вот, значит... Хутор наш ещё в стародавние времена прилепился почти на самой маковке Среднерусской возвышенности, по её правому боку. По левому обустроились такие же древние деревушки Жихарево да Ключнево. Жили себе предки наши, поживали, и твои, стало быть, пёсьи собратья тоже, на длиннющем безымянном холме, пока в начале тридцатых не воротился на свои корни аж из Монголии, где «добывал всяческую белогвардейскую контру», израненный – правую руку оставил где-то под Кош-Агачем – командир Красной армии Корней Ефимов.

Крестьянствовать без руки бедолажному ой как несподручно. А потому поступил он на службу в лесхоз – объездчиком убогому куда ни шло. Лесник тот, Корней Ефимов, и окрестил на монгольский манер лесистый хребет нашей возвышенности Дабой.

Ну, это я случайно узнала, всё от того же деда Трофима, которому Корней доводился родным дядей. А деревенские по большей части и не задумывались, и не догадывались, откуда взялось и как прижилось в наших краях это чужеземное словцо. Даба да Даба, будто искони так и велось.

Который час, уж и счёт потеряла, идём, а Дабы нет, как не бывало. Может, и впрямь закружились? Не чувт ноги спуска, хоть убей. Всё в гору да в гору. Вот, думаю, досчитаю до пятисот шагов, тут и взойду на маковку, сколько раз так пересчитывала – со счёту сбилась, сколько перепрыгивала ручьёв, сколько проломила сквозь бересклетник стёжек, в скольких скирдах подваливалась передохнуть, знает один Господь.

Уж и совсем было отчаялась, как неожиданно-негаданно натолкнулась на поросший мхом, изрядно накренившийся дубовый голбец. Вспомнилось: поставлен он на могиле лесника Корнея. Во время коллективизации подстерегла его здесь наголову разбитая, но долго ещё погуливавшая в наших краях банда анархиста Силаева. Привязали прятавшиеся по лесам озверелые людишки комбедовца Корнея к сосне, обложили сушняком да заживо и спалили. Даже праху от лесника не осталось; не схоронить было Корнея на погосте, потому и поставили мужики на месте последнего его вздоха на память высоченный крест.

А стоит он – кто ж у нас не ведаёт? – на самой

хребтине, когда-то наречённой Корнеем Дабой. Холмик давно сровнялся с землёй, порос крушинником, но могучий, морёного дуба крест хоть и подвалился навзничь, но всё ещё крепится, не рухает.

Под сотню лет той истории, но по сей день бо-язно проходить мимо. А уж как ночью-то жутко! Хоть бы птица какая голос подала, хоть бы зверь пробежал. Сыро, пусто, как в разграбленном склепе. И только сосны наперебой заступают мне путь из тумана, тянут свои коряжистые руки навстречу, того гляди заграбастают, уволочут в своё омертвевшее царство.

Нет сил не оглядываться. Там, позади, у покреннившегося креста мерещатся перебегающие от куста к кусту фигуры. Ноги подкашиваются, но надо собраться с духом – впереди, по моим подсчётам, если вновь не блуканула, еще полпути.

А навстречу из тумана движется кто-то огромный, неохватный, и уже нет никакой возможности от него спрятаться или увернуться! Иду напропалую и натыкаюсь на позабытую кем-то новолетнюю копну. Пахнет донником и иван-чаем. Обрадованная сухому местечку, Нюха падает у его подножья, надеясь, что и я поддамся соблазну.

Но душа моя не на месте: приткнись я рядом с Нюхой – усталость возьмёт своё, и тогда, как пить дать, не подняться мне до свету. А расслабляться нет никакого резона – видать, снова забрала вправо, иду напрямик по Дабе и никакого спуска не ощущаю. То ли от промозглости, всё лише охватывающей меня, прокравшейся, кажется, в самое сердце, то ли от страха вовек уже не выбраться из этого отуманенного, замороженного мира, к горлу подкатывает ком, на глаза наворачиваются слёзы.

Пытаюсь звать на помощь, но голос мой настолько жалок в этом затаившемся безлюдье, что слова мои, ухая в бездонный морок, не дождавшись ни отклика, ни малейшего эха, тут же немевают и глохнут, пропадают в вечности.

Кричи не кричи, но даже если за этими белесыми занавесями прячется большущая деревня, сей-час уже, скорее всего, такой час ночи, когда ни одна бездомная псина не торкается по осенской хляби, а не то что человек. Все давным-давно прибились к какому-никакому жилью, а главное – к теплу. Становится ещё жутче от сознания, что ни одна божья душа до самого утра не придёт мне на помощь: спят хуторяне, спит сторож Митрич, разошлись по домам последние припозднившиеся парочки. И только мы с Нюхой в этой стылой октябрьской ночи всё не сыщем себе приюта.

Присаживаюсь перед собачинкой на корточки, глазу её облепленную репьями лохматую голову. От безысходных мыслей слёзы сами по себе бегут ещё шибче из моих воспалённых от ветра глаз, и зубы непроизвольно принимаются выбивать безудержную дробь. Вместе со мною под усиливающимся ветром гудят и дрожат и поредевший бор, и на его окраине раздетый донага осинник.

Но я встаю. Чтобы постоянно чувствовать рядом живую душу, цепляю за Нюхин ошейник обнаруженную в глубине фуфаечного кармана верёвку, и мы нога в ногу снова пускаемся в путь.

Ветер подымает с земли палую листву и швыряет в нас охапками. Я отвращиваю лицо, Нюха ворочит морду, но мы, подвластно высшей воле, следуем вперёд. То ли от того, что иссыкли сами по себе, то ли высушил ветер, слёзы окончательно истончаются, сначала в душе волною поднимается дерзостное упрямство, а следом за ним зарождается смелая уверенность, что рано или поздно преодолею Дабу и, в конце концов, осилю эту, может, самую тяжкую в моей жизни ночь.

И действительно, выйдя на открытое пространство, зашуркав по набрякшей, ржаной стерне, я вдруг явственно почувствовала, как местность всё круче пошла под уклон – значит, всё-таки Даба осталась позади.

И что удивительно: ноги не помнили об усталости, будто открылось второе дыхание, потерянная улетучилась, душа обрела равновесие. Не страшили ни дикие порывы ветра, ни сшибавший с ног

прорвавшийся сквозь морок остервенелый дождь. За время мытарств, прошедшее в поисках перевала, я будто повзрослела на десяток лет, что-то во мне утряслось – как у нас говорят, «устаканилось». Уже не надо было подгонять Нюху, биться из последних сил самой.

В душе вызрело и окрепло понимание: всё рано или поздно становится на круги своя. Надо только набраться терпения, а главное – не оглядываясь, идти уверенно вперёд, только вперёд! Столько, сколько отвёл Господь. И пусть на пути неминуемы потери близких, всевозможные душевные и телесные болячки и невзгоды, периоды нештутейного, по-настоящему беспросветного одиночества, пока мы живы – всё решаемо!

Если хорошенько вспомнить, так и со счёту можно сбиться, сколько раз ошмыгивалась, падала, думалось: всё, ни за что не выкарабкаться. Но, словно барон Мюнхгаузен, брала себя за шкуру, вытаскивала из трясины. И снова – в дорогу! Кто знает, сколько там ещё впереди, какие ещё ждут меня взлёты и падения?

И я, ошибаясь и разочаровываясь, снова обнадёживаясь и преодолевая очередной перевал, упрямо торю свой путь.

□

Татьяна ГРИБАНОВА

родилась и живёт на Орловщине.

*Окончила факультет иностранных языков
Орловского государственного университета.*

Поэт, прозаик, автор 13 книг.

Член СПР с 2009 года.

*Председатель Творческого совета по защите родной природы
при Правлении СПР, член редколлегии журнала «Берега».*

*Печаталась в журналах: «Наши современники», «Родная Ладога»,
«Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник»,
«Огни Кузбасса» «Подъём», «Простор», «Берега», «Великороссь»,
«Наследник», «Сельская новь», «Лик», «Славянин», «Странник»,
«Эхо России», «Дон новый»; «Волга XXI век», «Немига новая» и мн. др.*

*Лауреат ряда литературных премий и конкурсов,
среди них – премия Е. Носова, А. Платонова, А. Фета,*

А. Фатьянова, «Вешние воды» и др.

В журнале «Север» публикуется впервые.

